

ОЛДОС ХАКСЛИ

ГЕНИЙ И БОГИНЯ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

— Беда с литературой в том, — изрек Джон Риверс, — что в ней чересчур много смысла. В жизни никакого смысла нет.

— Совсем-таки нет? — усомнился я.

— Ну, разве только с точки зрения Бога, — признал он. — А с нашей, человеческой, никакого. В книгах есть логика, есть стиль. В жизни нет ни того, ни другого. Грубо говоря, наша жизнь — вереница случайностей, каждая из которых — Тербер и одновременно Микеланджело, Мики Спиллейн и одновременно Фома Кемпийский*. Действительности всегда присуще несоответствие.

— Несоответствие чему? — спросил я.

* Джеймс Тербер (1894–1961) — американский писатель и художник-карикатурист. Мики Спиллейн (1918–2006) — американский писатель, автор жестких детективных романов. Фома Кемпийский (1380–1471) — монах-августинец, написавший знаменитый трактат «Подражание Христу».

— Лучшему из осмысленного и сказанного в мире, — с шутовским пафосом провозгласил он, махнув широкой загорелой рукой в сторону книжных полок, и добавил: — Как ни странно, ближе всего к реальности оказываются именно те книги, в которых на первый взгляд меньше всего правды.

Он потянулся к полке и провел рукой по корешку потрепанного томика «Братьев Карамазовых».

— В этой, например, так мало смысла, что она близка к действительности. Чего не скажешь о научной литературе. О трудах по физике и химии, истории, философии...

Его обвиняющий перст прошелся вдоль книжных переплетов: Дирак и Тойнби, Сорокин и Карнап*.

— ... и даже о биографической прозе. Вот, к примеру, последний образчик жанра.

* Поль Дирак (1902–1984) — английский физик, один из создателей квантовой механики. Арнольд Джозеф Тойнби (1889–1975) — английский историк и социолог. Питирим Сорокин (1889–1969) — американский социолог и культуролог. Рудольф Карнап (1891–1970) — немецкий философ и логик, ведущий представитель логического позитивизма и философии науки.

Он поднял со стола и протянул мне книгу в глянцевой синей суперобложке.

— «Жизнь Генри Маартенса», — без особого интереса прочтя набившее оскомину имя известного ученого, я вдруг вспомнил, что для Джона Риверса это не просто знакомое имя. — Ты ведь, кажется, был его учеником?

Риверс молча кивнул.

— И это официальная биография?

— Литературная версия, — уточнил он. — Незабвенный портрет типичного чудаковатого профессора из мыльной оперы — знаешь, эдакий ребенок-идиот с незаурядным интеллектом; страдающий гений, упорно сражающийся с превратностями судьбы; одинокий мыслитель и в то же время любящий семьянин; рассеянный ученый муж, вечно витающий в облаках, и при этом с золотым сердцем. К несчастью, в жизни все обстояло далеко не так просто.

— Ты хочешь сказать, что в книге есть неточности?

— Нет, на первый взгляд там все правда, а копнуть поглубже — полнейший вздор. Точнее, все было совсем не так. Впрочем, — добавил он, — это, наверное, и правильно. Видимо, настоящая правда не достойна быть увековеченной, слишком бессмысленна либо чересчур

ужасна, чтобы оставить ее без прикрас. И все равно это раздражает, если знаешь, как было дело. Обидно, когда вместо правды людям подсовывают дешевый сериал.

— И ты намерен исправить эту оплошность? — предположил я.

— Для широкой публики? Упаси боже!

— Ну, хотя бы для меня. С глазу на глаз.

— С глазу на глаз, — повторил Риверс. — А собственно, почему бы и нет?

Он пожал плечами и улыбнулся.

— Отметим один из твоих редких визитов небольшой дружеской оргией воспоминаний.

— Тебя послушать — точно речь идет об опасном наркотике.

— Это и есть наркотик, — ответил он. — Воспоминания — такое же бегство от действительности, как джин или амитал-натрий.

— Ты забываешь, что я — писатель, — сказал я, — а Музы — дочери Мнемозины*.

— Однако Бог не приходится им братом, — подхватил он. — Бог не сын памяти, а дитя непосредственного восприятия. Поклонение духовному возможно лишь в настоящем. Из ба-

* Мнемозина — в древнегреческой мифологии богиня, олицетворявшая память.

рахтанья в прошлом выходит неплохая литература, да только мудрости в ней не ищи. Обретенное время есть потерянный рай, а потерянное время — рай возвращенный. Прошлое следует предавать забвению. Коль хочешь по-настоящему проживать каждый миг, как он есть, тебе придется умереть для всех остальных мгновений. Это главное, чему научила меня Элен.

Имя вызвало в памяти бледное юное лицо, обрамленное колоколом темных, как у египтянок, волос, а еще — величественные золотые колонны Баальбека на фоне голубого неба и заснеженного Ливанского хребта. Я в ту пору был археологом и трудился под началом отца Элен. В Баальбеке я попросил ее руки и получил отказ.

— А если бы она вышла за меня, этому научился бы я?

— Элен жила, а не проповедовала, — ответил Риверс. — У нее трудно было не научиться.

— А как же с моим писательством, с дочерьями Мнемозины?

— Всегда можно взять лучшее от обоих путей.

— Ты предлагаешь компромисс?

— Синтез — третью позицию, противостоящую двум другим. На самом деле невозможно взять лучшее от одного мира, если не научиться

по ходу брать лучшее от другого. Элен ухитрилась брать от жизни все, даже на пороге смерти.

Баальбек перед моим мысленным взором уступил место Университету в Беркли, бесшумно качающийся колокол темных волос — седому пучку, а нежное девичье лицо — иссохшим чертам стареющей женщины. Видимо, она болела уже тогда.

— Я был в Афинах, когда она умерла... — произнес я вслух.

— Помню. Жаль, что тебя не оказалось рядом, — помолчав, добавил Риверс. — Ради нее — она тебя очень любила. Да и тебе было бы не лишним. Умирание — искусство, и в наши годы пора им овладеть. Чрезвычайно полезно понаблюдать за тем, кто в этом что-то смыслит. Элен знала, как надо умирать, потому что умела жить — здесь и сейчас, во славу Господа. А это неминуемо влечет за собой смерть — здесь и сейчас, и завтра, и умирание собственного жалкого «я». Живя, как только и следует жить, Элен постепенно умирала — каждый день понемногу. Когда настал день окончательного расчета, практически все было выплачено. Кстати, — помолчав, добавил он, — минувшей весной я сам подошел совсем близко к последней черте. Если бы не пенициллин, я бы сейчас

с тобой не разговаривал. Пневмония — бич стариков. Только теперь они научились тебя воскрешать, чтобы ты мог вдоволь насладиться атеросклерозом или аденомой простаты. Я живу, так сказать, посмертно. Все, кроме меня, умерли, да и мне недолго осталось. Если я начну рассказывать, как все было, выйдет история о привидениях из уст самого привидения. А ведь сегодня Рождественский сочельник — самое время для таких историй. К тому же ты мой старинный друг, и что мне за дело, даже если ты вставишь это в свой роман?

Его крупное, изрытое морщинами лицо осветилось добродушной иронией.

— Если ты против, я обещаю, что не буду об этом писать, — уверил его я.

На сей раз Риверс открыто рассмеялся.

— «Когда в крови огонь, сгорают клятвы, как солома», — процитировал он «Бюрю» Шекспира. — Я скорее доверил бы своих дочерей Казанове, чем свои тайны — сочинителю. Творческое пламя горит жарче плотского. Клятвы литераторов пылают ярче, чем супружеские либо монашеские.

Я начал было возражать, да он не слушал.

— Если бы я до сих пор хотел хранить тайну, то не стал бы тебе рассказывать. Только про-

шу: коль уж дойдет до публикации, не забудь вставить обычное примечание. Ну, как водится: любое сходство с реальными людьми, живыми или умершими, — чистая случайность. Чистейшая! А теперь вернемся к Маартенсам. Постой, у меня где-то была фотография.

Он выбрался из кресла, подошел к письменному столу и выдвинул ящик.

— Мы все: Генри, Кэти, детишки и я. Каким-то чудом нашлась там, где я и думал, — пошуршав бумагами, удивился он, протягивая мне выцветший снимок. Перед деревянным летним коттеджем стояли трое: тщедушный седой человек с орлиным носом, молодой гигант в рубашке без пиджака, а между ними — смеющаяся белокурая валькирия, статная, с высокой грудью, в нелепой узкой юбке. В ногах у взрослых сидели дети: мальчик лет девяти-десяти и девочка-подросток с косичками.

— Какой он старый! — вырвалось у меня. — Похож скорее на дедушку своих детей.

— Ага, и при этом в пятьдесят шесть лет до того не приспособлен к жизни, что Кэти считала его своим младшим ребенком.

— Тяжелый случай кровосмешения.

— Тем не менее это всех устраивало. Классический пример долговременного симбиоза. Он

жил за ее счет, и она, воплощение материнства, великодушно это позволяла.

Я вновь посмотрел на фото.

— Удивительное смешение стилей! Маартенс — чистая готика, его жена — вагнеровская героиня, дети точно сошли со страниц миссис Моулсворт*. А ты, ты... — Я поднял глаза на изборожденное морщинами грубоватое лицо по другую сторону камина и вновь перевел взгляд на снимок. — Уж и запомнил, каким красавцем ты был в молодости. Римская копия Праксителя.

— А может, все-таки оригинал? — взмолился он.

Я покачал головой.

— Посмотри на нос. А лепка челюсти! Нет, это не Афины, это Геркуланум. К счастью, девушек не интересует история искусства. Для практических амурных целей ты был неотличим от оригинала, настоящий греческий бог.

Риверс поморщился.

— Разве что с виду. Если ты думаешь, что я мог играть эту роль... — задумчиво произнес он и покачал головой. — У меня не было ни Леды,

* Моулсворт Мэри Луиза (1839–1921) — шотландская детская писательница.

ни Дафны, ни Европы. Не забывай, в те времена я представлял собой типичный образец удручающе неправильного воспитания. Сын лютеранского священника, а по достижении двенадцати лет — единственное утешение овдовевшей матери. Да, единственное, несмотря на то, что она считала себя ревностной христианкой. Малыш Джонни занимал в ее сердце первое, второе и третье места, Бог не входил даже в тройку призеров. Понятно, единственному утешению не оставалось ничего, кроме как стать образцовым сыном, первым учеником, неутомимым стипендиатом, который тяжким трудом пробирует себе путь в колледж и университет, не имея времени на более утонченные занятия, чем футбол или кружок хорового пения, на что-то более просветляющее, чем еженедельная проповедь преподобного Уигмана.

— Неужели девушки позволяли тебе их не замечать? С такой-то наружностью? — указал я на кудрявого атлета на снимке.

Риверс помолчал немного и ответил вопросом на вопрос:

— Твоя матушка когда-нибудь говорила тебе, что самый чудесный свадебный подарок, который может преподнести мужчина своей невесте, — это его девственность?

— К счастью, нет.

— А моя говорила. Более того, она делала это на коленях, произнося импровизированную молитву. Ей блестяще удавались импровизированные молитвы, — заметил он в скобках. — В этом деле она могла заткнуть за пояс даже моего отца. Ее речь, изобилующая витиеватыми оборотами, лилась еще более гладко и плавно. Она могла обсуждать наши финансовые дела или укорять меня за нежелание есть пудинг из тапиоки в оборотах, дословно воспроизводящих Послание к евреям. Ее молитвы являли собой феноменальный образчик лингвистической виртуозности. На свою беду, я не мог рассматривать их с такой точки зрения, ведь этот торжественный спектакль разыгрывала моя мать. Я должен был принимать сказанное ею перед Богом с благочестивой серьезностью. Особенно когда она затрагивала столь щепетильную тему. Можешь не верить, но в свои двадцать восемь я продолжал хранить вышеупомянутый свадебный подарок для будущей невесты.

Наступила тишина.

— Бедный Джон, — сказал наконец я.

Он покачал головой.

— Скорее бедная моя матушка. Она идеально все распланировала. Должность млад-

шего преподавателя в своем же университете, затем — ассистента профессора, а там и профессура не за горами. Даже из дома уезжать не придется. А ближе к сорока она собиралась женить меня на какой-нибудь славной лютеранке, которая полюбит ее, как родную мать. Джон Риверс был обречен, спасти его могла только милость божия. И милость божия не замедлила явиться — она же, как выяснилось впоследствии, и возмездие. В одно прекрасное утро, через несколько недель после получения степени доктора философии, мне пришло письмо от Генри Маартенса. Он жил тогда в Сент-Луисе и работал над атомом. Он писал, что нуждается в ассистенте, слышал лестные отзывы от моего научного руководителя, может предложить лишь смехотворно ничтожное жалованье, но вдруг меня все-таки заинтересует его предложение. Для начинающего физика, как я, то был шанс, который выпадает раз в жизни. А вот для моей бедной маменьки это письмо стало крушением всех надежд. Истово, отчаянно молилась она Богу, спрашивая совета. К ее чести, Бог велел меня отпустить.

Десять дней спустя таксист высадил меня у порога Маартенсов. Помню, как стоял, обливаясь холодным потом, и набирался мужества,

чтобы позвонить в дверь. Ни дать ни взять напроказивший школьник, вызванный к директору. Моя первичная эйфория давно рассеялась, несколько последних дней перед отъездом и всю дорогу, показавшуюся мне бесконечной, я только и думал о своей несостоятельности. Сколько времени понадобится такому человеку, как Генри Маартенс, чтобы меня раскусить? Неделя? День? Да не больше часа. Он обольет меня презрением. Я стану посмешищем для всей лаборатории, и за ее пределами будет не лучше, а то и хуже. Маартенсы пригласили меня остановиться у них, пока не найду жилье. Какое неслыханное великодушие! И в то же время какая дьявольская жестокость! В строгой, высококультурной атмосфере их жилища я покажу свое истинное лицо — стеснительного, глупого, безнадежного провинциала. Однако директор ждал. Стиснув зубы, я нажал кнопку звонка. Дверь открыла древняя чернокожая прислуга из старомодной пьесы. Из тех, что родились еще до отмены рабства и сохранили преданность своей мисс Белинде. В этом достаточно банальном спектакле Бьюле досталась внушающая симпатию роль, и хотя она частенько переигрывала, я скоро понял, что эта женщина — не просто сокровище, а почти святая. Выслушав мои